Окно бабушкиной кухни выходит во двор. Сарай, теплица, грядки, старая сутулая яблоня – всё укрыто толстым слоем мерцающего снега. Всё погружено в густую тишину. Всё спит. Редкие звезды рассыпаны по черному небу.

В кухне тепло, мягко светит настольная лампа – свет не добирается до углов, и они теряются в полумраке. На холодильнике бормочет радио, сам холодильник то и дело принимается гудеть и вздыхать.

Над чашкой качаются лепестки пара.

Из-за стены доносится приглушенная музыка – летит издалека, трется, меняет очертания. Бабушка смотрела свою «Культуру», задремала, а у меня нет ключей – уйти сам я не могу; но будить ее не хочется – здорово спать под классическую музыку! – и вот я сижу в теплой кухне, обжигаю ладони о чашку и смотрю в окно.

Век бы так сидел.

Радио перестает бормотать и запевает гнусавым голосом – голос сливается с просачивающейся сквозь стену музыкой, и по кухне плывет туман из звуков, обволакивает меня, убаюкивает.

По двору, поджимая к животу лапы, проваливаясь в снег, крадется соседский кот. Добирается до теплицы, исчезает за ней.

За теплицей – яблоня, за яблоней – забор, за забором – уходящие вдаль сугробы крыш. Кое-где торчат черенки труб, из них вырастают сизые столбы дыма.

Я вижу свое отражение, вижу, как блестят глаза, как блестит на безымянном пальце кольцо. Какие у меня длинные, худые пальцы. Вижу зыбкое отражение кухни – предметы дрожат, растворяются, шкаф растерял все стенки, кроме одной, от холодильника осталась лишь дверца, сверкает кружок часов, он висит не на стене – стены нет, – а на широкой яблоневой кроне, вместо отсутствующей луны.

Отворачиваюсь от окна, выглядываю в коридор. Показалось. Лампа бросает в коридор бледный тлеющий прямоугольник света, выхватывает полукруг столешницы, сервант, крючки вешалок. Яркими пятнами висят в воздухе широкие овальные листья, на них свет ложится с готовностью – останавливается, застывает.

Это апельсин.

Я оставляю чашку на столе и выхожу в коридор – моя тень вытягивается, ныряет за порог, раскалывает надвое тлеющий прямоугольник.

Апельсин стоит на толстоногой табуретке, у окна, в огромном горшке. Поднять горшок можно только вдвоем. Апельсин тянется к окну,

упирается макушкой в потолок, ветви его покрыты сухой морщинистой корой, но по мере удаления от ствола они истончаются и нежнеют. Листья – широкие, плотные, налитые соком.

Это окно также смотрит во двор – и странно видеть на белом фоне раскидистый силуэт апельсинового дерева. От окна на листья, на кору падает прозрачной пленкой серебряный отсвет. На листьях – ни пылинки, я точно знаю, что бабушка раз в неделю протирает их влажной тряпочкой. Вот и тряпочка – на подоконнике.

Осторожно – точно боюсь разбудить – касаюсь тех листьев, на которых покоится свет лампы. Сухие и теплые. Апельсин пьет очень много воды, но все время кажется, что ему ее не хватает.

Радио перестает петь и снова бормочет, «Культуры» отсюда почти совсем не слышно. Зато с улицы летит собачий лай – в частном секторе собаки частенько устраивают ночные переклички: лают по очереди из-за заборов, для порядка.

Существует все же какая-то глубинная связь между человеком и деревом, которое он посадил, – я не могу сказать, в чем она выражается, но ощущаю ее всякий раз, когда касаюсь этих листьев.

В детстве я все ждал, что однажды между ними запылает оранжевая кожура. Это было бы, конечно, совсем чудом – но и в самом наличии апельсинового дерева, в том, как оно появилось, я всегда видел нечто чудесное.

Крошечный зеленый росток показался из земли под широким крылом молочая – в первом горшке, если считать от стены, из тех, что стояли тогда на подоконнике в столовой. Окно столовой выходит на улицу, и малыш рос, глядя на теснящуюся в палисаднике сирень, рыжую коробку гаража и возвышающийся над гаражом клен.

Первой, конечно, росток заметила бабушка – листочки апельсина очень скоро приобретают характерную форму.

Открыли энциклопедию и ахнули:

– Апельсин!

И я вспомнил, что именно в этот горшок я ткнул апельсиновую косточку, которую поленился выкидывать. Я очень живо это вспомнил – быть может, тогда впервые сверкнула таинственная связь человека и дерева – и помню по сей день: мне семь лет, я сижу на диване, в уголке, у самого окна, на экране телевизора сверкает, переливается, звенит что-то новогоднее – звучат песни, музыка, там пьют шампанское и смеются. Рядом с телевизором горит огнями елка – живая, – и по столовой плывет вязкий запах хвои. Вся семья – вокруг праздничного стола. Мама чистит апельсин, с глухим треском отрывая от него толстую кожуру, протягивает мне несколько холодных долек. В нос бьет душистый аромат, я чавкаю – так вкуснее. Нащупываю косточку, ловлю ее большим и указательным пальцами, но меньше всего я сейчас хочу вставать и куда-то идти – даже два шага, отделяющие диван от стола, кажутся пропастью. Я протягиваю руку к окну, за штору – стекло дышит холодом, – нащупываю цветочный горшок и одним движением погружаю влажную косточку в землю.

Воспоминание обрывается.

Я был чрезвычайно горд – шутка ли! Ходил, надувшись, подмигивал росточку и даже несколько раз поливал его под присмотром бабушки.

Думаю, если бы апельсин умел оценивать окружающую обстановку, он обязательно отметил бы атмосферу веселья и гостеприимства, царившую в нашем доме. Не проходило и двух недель, чтобы к нам не

заявлялись гости – бесчисленные дядюшки, тетушки, братья и сестры, кумушки и кумовья. Стол неизменно накрывали в столовой – и музыка, разговоры, а то и песни не смолкали до поздней ночи.

А спустя полтора года родился мой младший брат, и к общей гамме звуков прибавился тонкий детский плач, в положенное время сменившийся агуканьем, балаканьем и прочими премилыми нотами. Гости стали приходить еще чаще – и приводить с собой маленьких детей, – дом превратился в шумную музыкальную шкатулку, и я просто не могу вспоминать свое детство без улыбки – все праздники слились в непрекращающийся круговорот огней и музыки.

За окном начинается снегопад. Крупные, грузные хлопья медленно тянутся сверху вниз – так медленно, словно их спускают на ниточках. По забору, спихивая лапой налипший снег, семенит соседский кот – неймется ему, нет бы дома сидеть.

Очень скоро апельсин пересадили в отдельный горшок – и на месте молочая я бы загрустил. Апельсин рос красивый, тоненький, нежно-нежно-зеленый, листочки у него просвечивали на солнце, и можно было разглядеть каждую жилку. Ни о какой коре еще и речи не шло – страшно было докоснуться: вдруг поранишь?

Я мог забраться на гараж, с него – на клен, зарыться в самую гущу пятипалых кленовых звезд, выглянуть и увидеть в окне стройное деревце. Я говорю «мог», потому что не помню наверняка, высматривал ли я с улицы – тем паче с клена – свой апельсин, но мне хочется думать, что хотя бы раз, но высматривал.

Когда ствол апельсина уже был покрыт светлой и тонкой, как ее звала бабушка, «корицей», брат – к тому времени знавший наизусть несколько стихотворений Агнии Барто – зачем-то вздумал карабкаться на подоконник, неловко повернулся – и апельсин полетел на пол вместе с горшком. Горшок раскололся, одна веточка сломалась.

Брат испугался, заплакал, я разозлился на него и побежал за бабушкой. Когда она пришла, брат так и сидел на подоконнике – ревел.

– Ничего, – сказала она. – Все равно пересаживать пора, смотрите, какие корни.

За то время, что апельсин жил в собственном горшке, его корни удивительно разрослись – тугой клубок белых нитей поджал под себя почти всю землю, и поэтому на пол ее просыпалось совсем чуть-чуть.

Брат перестал реветь и только шмыгал носом, поглядывая то на меня, то на бабушку – апельсин его в то время почти совсем не интересовал: цветок и цветок. Бабушка погрозила мне пальцем и велела собирать черепки. Брат сполз с подоконника – помогать.

Много лет спустя, когда бабушка уже жила одна – и по счастливой случайности именно в тот вечер гостила у нас, – в дом забрался вор. Забрался через это самое окно, опрокинул горшок с бегонией. Апельсин уже ни на одном подоконнике уместиться бы не мог, но при виде жалкой смятой бегонии, мне сразу вспомнился тот случай, с братом. Вор вытряс из комода ящики, выгреб на пол содержимое книжного шкафа – тайник, что ли, искал? – и ушел дворами, захватив с собой две шкатулки с украшениями, основная ценность которых заключалась в воспоминаниях. На полу кухни лежал разбитым экраном вниз телевизор – злоумышленник в последний момент понял, что с телевизором под мышкой через заборы не попрыгаешь.

Бабушка потрясала кулачками и храбрилась, но видно было, что она напугана – как пугается, казалось бы, понапрасну, человек, за спиной

которого промчался с ревом автомобиль. Вора искала вся улица, от крыльца к крыльцу ходил участковый. Через два дня на каждом окне бабушкиного дома красовалось по решетке – она посокрушалась для виду, но вздохнула с облегчением. Отец убеждал ее какое-то время пожить у нас, но она оставлять дом отказалась, требовала себе охотничье ружье – и еще почти месяц отец ночевал в комнате, которую когда-то занимали мы с братом.

Снег усиливается – и больше не кажется, что каждая снежинка привязана к нитке. Теперь кажется, что снежинки – живые, что они танцуют. Где же луна? Почему не видно луны? Я опираюсь о подоконник, заглядываю, насколько хватает глаз, влево, вправо. Луны нет, в небе ни облачка. На стекле остается мутный кружок – от моего дыхания, – я смотрю, как он тает, уменьшается, превращается в точку и исчезает. В призрачном серебряном свете листья выглядят неживыми, холодными, вырезанными из картона.

Радио снова поет – на этот раз веселее, тонким женским голосом. Холодильник невпопад вздыхает, радиаторная решетка устало дребезжит.

После инцидента с братом апельсин пересадили в новый горшок – побольше – и перенесли из столовой в зал, на подоконник у пианино – это место почему-то показалось бабушке более безопасным. Теперь апельсин видел не только сирень, гараж и клен, но и пышную иву, примостившуюся у дома напротив, на той стороне улицы. Под водопадом ивовых ветвей строили шалаши девчонки – они боялись лазать на клен. Мы, мальчишки, совершали на шалаши набеги, разоряли, рушили, а девчонки раз за разом отстраивали их заново – рассаживали по углам кукол, обвязывали ветви потрепанной новогодней мишурой. Когда на иву падали солнечные лучи, она начинала блестеть – сквозь листву.

«Нужно посмотреть, – думаю я, – наверняка что-то сохранилось, блестит по сей день».

Радио звонко поет, и мне хочется шагнуть на кухню, сделать громче, но я не иду.

В зале не накрывали праздничных столов, и там, вероятно, было не так весело, как в столовой, но зал – самая светлая комната в доме, с самыми широкими окнами, в солнечные дни кажется, что ты не в комнате, а на веранде. Поэтому на месте апельсина я бы не особенно огорчился переезду.

Но кое-какому переезду огорчиться пришлось. Когда мне было тринадцать, родители купили квартиру в центре города – и мы все в нее перебрались. Все, кроме бабушки – она уже не требовала ружья, но мысли о том, чтобы покинуть дом, по-прежнему не допускала. Ее можно понять – здесь она родилась; между человеком и домом, в котором этот человек живет столько лет, тоже существует, вероятно, какая-то особая связь.

Острее всего изменения переживал, по-видимому, я. Мы регулярно приезжали, и стол в столовой продолжал ломиться, и даже мама вдруг снова полюбила пианино, играть на котором зареклась много лет назад, – но какие-то нити внутри меня стали обрываться, иву теперь грабили без моего участия, и однажды я осознал, что не переживаю по этому поводу. Круговорот огней и музыки стал удаляться, хотя гостей меньше не становилось, и гости теперь кочевали от дома к квартире и обратно, – но я уже не чувствовал себя вовлеченным во всеобщее веселье. Наверное, все это совпало с тем временем, когда я переходил рубеж между детством и… что там следует за детством?

Мой брат, к слову, вообще не помнит тех лет, что он провел в бабушкином доме – он был совсем мал, и для него сознательная мальчишеская жизнь началась уже на новом месте, в гулком дворе четырехэтажного дома с прямоугольной баскетбольной площадкой в центре.

Апельсин сперва переехал вместе с нами – но затосковал и стал чахнуть на глазах. Листья поникли, некоторые съежились – хотя и света, и воды, и свежего воздуха хватало с избытком.

Вспоминаю про чай – он совсем остыл. Возвращаюсь к столу, сажусь, в два глотка осушаю кружку. Радио почему-то молчит, и холодильник замер – зато музыка за стеной разошлась не на шутку; в квартирах такие фокусы не приветствуются. Сухо и, кажется, строго щелкают часы, гудит равномерно газовый котел. Я смотрю на оранжевые в свете лампы листья, выглядывающие из коридора.

Разумеется, тому, что апельсин чуть не зачах в новой квартире – его таскали из одной комнаты в другую, пока не решили перевезти обратно – наверняка можно подобрать рациональное ботаническое объяснение, но мне хочется думать, что дерево – а это уже было настоящее дерево – именно затосковало. По дому, по бабушке.

Его привезли и поставили в коридоре – на том самом месте, на котором он стоит сейчас. В зале и в столовой стало прохладнее. Приземистую толстоногую табуретку смастерил на уроке труда брат. Сейчас он учится на втором курсе университета, и если он перестанет бриться, на его щеках заколосятся бакенбарды почище пушкинских.

С началом лета апельсин, сменивший уже седьмой или восьмой горшок из-за стремительного роста, выносят во двор. Час или полтора – пока для нас с братом есть хозяйственные поручения особой важности – дерево стоит между грядок, и может показаться, что оно растет прямо из земли. Мы поливаем клумбы, лазаем на крышу, спускаемся в холодный тесный погреб, пьем чай в кухне, прилежно слушаем бабушкины наставления или просто сидим на лавочке возле сарая, щурясь от солнца, – а апельсин тянет во все стороны свои изумрудные ветви и впитывает в себя лето, тепло, птичий щебет, голубое небо, шелест листвы. Я чувствую, как он оживает, как бежит под корой терпкий прозрачный сок. Брат поливает его из шланга, прижимает к струе большой палец, и сквозь веер капель плывет нам навстречу радуга – и ее тоже впитывает апельсин. Все радуется лету – даже сутулая яблоня одобрительно качает склоненными ветвями, кивает по-старушечьи, а в ее зелени щебечут, снуют птицы.

Однажды на апельсин приземлилась, мельтеша крыльями, трясогузка – прошлась туда-сюда с важным видом и упорхнула.

Потом мы затаскиваем дерево в теплицу – вглубь помидорных джунглей. Тепличные условия более всего похожи на среду, в которой положено пребывать апельсину. Осенью, когда ветер носит над дворами красные кленовые листья, а в воздухе мерцают загадочно паутинки, мы возвращаем апельсин в дом, в коридор, к окну, ставим на толстоногую табуретку, укрепленную для надежности железными скобами.

И апельсин остается в доме – теперь он слушает, как скрипит под бабушкиными шагами пол, как бормочет на холодильнике радио, как басит лучшими тенорами – отсюда слышно только лучших из лучших – телеканал «Культура». За окном сперва льют дожди, им на смену приходит первый, сухой, снежок, быстро отступает – и опять дожди, дожди. Ветер свистит все надрывнее, все капризнее отмахивается от него яблоня – и, наконец, после долгого гнетущего безвременья приходит

зима, застилает все белыми перинами. Как странно, наверное, апельсину наблюдать зиму вблизи!

Каждый, кто входит в дом, видит в глубине коридора могучие ветви – и если видит впервые, неизменно удивляется. Оставляет ботинки у двери – вокруг них на полу образуется лужица – и идет здороваться, гладит листву, качает головой – то ли восхищается, то ли сочувствует теплолюбивому гостю, запертому в русской зиме.

Приходят к бабушке подружки – маленькие, сухонькие – и апельсин подолгу слушает, как воркуют они на кухне – хвалят пироги, обсуждают новый состав симфонического оркестра, вспоминают далекие времена, посмеиваются. Долго прощаются, долго стоят на пороге, поправляют шапки, платки, ругают синоптиков. Наконец, бабушка закрывает дверь, идет по коридору. У зеркала она останавливается и поправляет выбившуюся прядь. Проходя мимо апельсина, неизменно задевает плечом широкий лист, – не из неловкости, а как-то привычно, как будто так и надо, как будто это тоже – часть общения. Потом долго звенит посуда, шипит в раковине вода, радио тихо поет, бабушка ему подпевает. Потом она гасит свет и уходит в комнату – радио никогда не выключается, ему вторят, игнорируя время и пространство, лучшие тенора. Ближе к полуночи «Культура» отправляется на боковую, дом погружается в сон. Апельсин неподвижно стоит у окна, озаряемый лунным светом – свет отражается от сугробов, от налипших на яблоню комьев снега, и за окном совсем светло. По стенам коридора плывет черная витиеватая тень, обрамленная серебряным сиянием – ветви, листья, иголки шипов. Кажется, что это узор, что он нарисован – и останется, даже когда взойдет солнце и по коридору поплывут розовые и лиловые волны света.

Меня начинает клонить в сон. Воет ветер. Краем глаза вижу, как бушует за окном метель. Кухня качается, точно я на корабле. Мысли принимают причудливые формы, плывут через кухню караваном, поднимают в воздух облака золотого песка. Яркие пятна листьев переплетаются и сливаются.

Что если растения способны видеть сны? Что если моему апельсину снится… Откуда к нам везут апельсины? Что если ему снятся раскаленные пески, черные жерла колодцев, журчание драгоценных источников? Всхрапывание верблюдов, крики погонщиков – на языке, которого он никогда не слышал? Горизонт, дрожащий в знойной дымке, грохот редких дождей, пышные разноцветные сады? Я думаю об этом, и мне уже кажется, что я сам стою по щиколотку в песке – и вместо рук у меня ветви, и ветер гладит широкую изумрудную листву, покрывающую их. Мне кажется, что я накрепко привязан к самому сердцу земли тонкими белыми нитями, что небо надо мной похоже теперь на водную гладь – и по нему пробегают прохладные волны. Кажется, что птицы садятся мне на плечи и щебечут что-то, щекочут шею крыльями, а откуда-то издалека льется, переливается женский голос, тянется песня.

Я и впрямь слышу песню – но почти сразу понимаю, что это запело после недолгого перерыва радио на холодильнике. Я выныриваю из объятий сна, вздрагиваю и едва не сталкиваю на пол пустую чашку, которую все это время придерживал рукой.

За тридевять земель скрипит пол. Я слышу, как открывается дверь, в коридоре показывается бабушка. Лицо у нее строгое, она спрашивает, почему я ее не разбудил. Я говорю, что сам задремал. Строгость исчезает с лица, ее сменяет улыбка. Бабушка идет к плите, проверяет, есть ли в чайнике вода.

Я встаю, потягиваюсь, – давно пора ехать.

– И даже не поел?

Я вру, что не голоден, целую ее в макушку, ставлю кружку в раковину и иду в коридор – к вешалке.

Апельсин стоит неподвижно – и нельзя понять, провожает ли он меня в молчаливой торжественности или задумчиво смотрит на метель, в которой растворились и сарай, и яблоня, и двор, и крыши с черенками труб – только зернистая белая пелена приникает с той стороны к стеклу.

– Застегивайся лучше, – командует бабушка у порога. – У вас как, не холодно?

– У нас – это у нас или у нас?

Я ведь уже год как переехал – сразу после свадьбы. Мы теперь живем в однушке на другом краю города, у самой реки. Сейчас река похожа на широкую белую дорогу, по ней ходят, как деловые, рыбаки, раскладывают свои табуреточки.

– У вас, – поясняет бабушка с улыбкой.

Я улыбаюсь в ответ.

Как только я открываю дверь, в коридор влетает горсть звонкой белой крупы.

– Все, – суечусь я, поправляя шапку, – не держи открытой.

Выпрыгиваю на крыльцо, захлопываю дверь. Слышу, как щелкают замки. Один, второй.

Метет немыслимо – но от этого почему-то весело, хочется так и стоять, в самом центре метели, задыхаться, жмуриться. На гараже лежит слой снега толщиной чуть ли не в сам гараж, черный силуэт клена проглядывает сквозь пелену и кажется то ли великаном, то ли сторожевой башней. На той стороне улицы едва угадываются покатые плечи ивы.

Я спускаюсь с крыльца, нарочно сую ногу в сугроб, сходя с расчищенной тропинки – утром отец приедет и будет расчищать заново, – смеюсь, задираю голову и вижу высоко в небе, за белой кутерьмой, сияющий диск луны.